

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИОСИФЕ БРАШИНСКОМ

Э. Д. ФРОЛОВ

Преждевременно, в расцвете творческих сил ушедший из жизни Иосиф Бениаминович Брашинский (1928—1982) был, по общему признанию, одним из крупнейших специалистов по археологии и истории античного Причерноморья. Он начал с изучения отношений понтийских городов с Афинами в классический и эллинистический периоды. Этой теме были посвящены его кандидатская диссертация и первая опубликованная монография «Афины и Северное Причерноморье в VI—II вв. до н. э.» (1963). Начав с истории, он перешел на археологию, участвовал в раскопках на Боспоре и в Ольвии, а с 1966 г. возглавил экспедицию, работавшую на месте так называемого Елизаветовского городища — большого скифского поселения на Нижнем Дону. Этой экспедицией он руководил до самой смерти, а собранный ею богатый материал, в особенности остатков керамической тары (целых амфор и их фрагментов), лег в основу двух следующих обширных монографий: «Греческий керамический импорт на Нижнем Дону» (1980) и «Методы исследования античной торговли (на примере Северного Причерноморья)» (посмертное издание 1984 г., подготовленное и осуществленное А. Н. Щегловым). Помимо этих фундаментальных работ Брашинский был известен и как автор прекрасного популярного очерка «Сокровища скифских царей» (1967). Кроме того, им было написано множество статей на самые разнообразные темы из истории античного Причерноморья (в частности, о Понтийской экспедиции Перикла, о факторах и характере греческой колонизации и др.), в которых он мастерски использовал, как теперь модно подчеркивать, комплексный метод, т. е. умение для реконструкции прошлого комбинировать данные самых разнообразных источников — литературной традиции, эпиграфики и археологии.

Окидывая мысленным взором все богатство научного наследия Брашинского, поражаешься тому, как много он успел сделать за свой сравнительно недолгий творческий путь. Однако я не собираюсь вдаваться в описание и оценку этого наследия по существу, поскольку мои собственные занятия никогда вплотную не соприкасались с занятиями Брашинского и для меня было бы трудно провести историографический анализ его творчества. Да этого и не надо — это сделано другими, более авторитетными в этой области специалистами. Моя цель другая: поскольку я все-таки знал Брашинского с давних пор и в течение долгих лет поддерживал с ним близкие отношения, постараться привести ряд эпизодов из его жизни (насколько, конечно, они сохранились в моей памяти), чтобы осветить черты его незаурядной личности. Действительно, на протяжении многих лет я мог наблюдать его в самых различных ситуациях, в которых, как мне кажется, он проявлял себя как человек — не только как ученый, питомец ленинградской (петербургской) кафедры античной истории, но и как близкий мне приятель, участник многих наших дружеских встреч и бесед.

Впервые я познакомился с Брашинским летом 1951 г. на так называемой комсомольской стройке (на Карельском перешейке, недалеко от финской границы). Туда отправился большой отряд студентов-историков, только что кончивших первый курс (в том числе и я) и перешедших с четвертого курса на пятый; в числе последних был и Брашинский. Стройкой наше дело называлось только по недоразумению. Директор совхоза, в распоряжение которого мы прибыли, поручил нам достроить огромный коровник, который начали возводить студенты какого-то другого института. Однако поставленные нашими предшественниками опорные столбы готовы были рухнуть, и в конце концов руководство совхоза отказалось от идеи достраивать коровник и отравило нас всех валить лес — пилить огромные сосны, очищать их от сучьев и отвозить потом в штаб-квартиру совхоза. Время было чудесное, и хотя работа в лесу была достаточно тяжелой, основная масса студентов не унывала: ботми хорошо, а рядом протекала Вуокса, где мы и плавали в свободное время сколько душе было угодно.

Но я отвлекся от главного сюжета. Знакомство с Брашинским состоялось вот при каких обстоятельствах. Вся группа студентов расположилась в огромном сарае, построенном в форме буквы «П». Посередине двора, образованного боками этого сарая, некто поставил белую палатку для своего отдельного жительства. Этот некто был Брашинский, который решил уединиться в палатке вместе со своей женой, тоже студенткой четвертого курса. Это вызывало любопытство и восторг остальных студентов, и, разумеется, нашлись охотники (в том числе и я), которые с наступлением ночи подкрадывались к палатке и, выдергивая колья, обрушивали ее. Мы тут же разбежались, потому что хозяин палатки был силен как бык и гнева его мог убояться любой. Брашинский действительно от природы был очень сильным человеком, и я помню, как на соревнованиях, которые устраивались в лагере, он толкал ядро дальше всех.

Следующий момент в моих отношениях с Брашинским — участие в эпиграфическом семинаре, который вела наша общая руководительница профессор Ксения Михайловна Колобова. Я должен здесь упомянуть, что сам я определился на кафедру истории Древней Греции и Рима Ленинградского университета с опозданием. Сначала я записался на кафедру истории нового времени, но когда в начале второго семестра лекции по истории Рима стал читать Сергей Иванович Ковалев, я увлекся античностью и перешел на кафедру истории Древней Греции и Рима. Однако я пропустил время для занятий древнегреческим языком, и вот К. М. Колобова, когда я вернулся со стройки, предложила мне заниматься этим языком под ее руководством. Я помню, как целый август день за днем я отправлялся к ней на ул. Плеханова за Казанским собором, где она тогда жила, и штудировал под ее руководством параграф за параграфом из хрестоматии Хервига, которая и по сию пору является основой наших занятий со студентами. За месяц мы прошли по этому пособию весь курс древнегреческого языка (разумеется, в его элементарной части), и когда начались занятия, К. М. Колобова предложила мне присоединиться к ее семинару по греческой эпиграфике. Там я ближе познакомился с Брашинским и его женой, которая тоже была античницей.

Это было золотое время! К. М. Колобова, только что защитившая докторскую диссертацию, погрузившись в учебную работу, с увлечением вела камерные занятия со студентами-античниками. Она обладала удивительным педа-

гогическим талантом и умела привлекать к себе учеников. Ею была создана целая школа молодых эллинистов, среди которых были ставшие впоследствии крупными учеными И. С. Свенцицкая, И. А. Шишова, И. Ш. Шифман, позднее также Ю. В. Андреев, В. М. Строгеецкий и др. Среди старших учеников Колобовой особо выделялся Брашинский: он был энергичен, эмоционален, с увлечением занимался темой, которую ему дала Колобова, — историей античного Причерноморья. Сама Колобова в ту пору, несомненно, выделяла Брашинского из среды остальных: он был для нее первым и наиболее любимым учеником, которого она ласково называла Осей.

Следующее событие, которое всплывает в моей памяти в связи с Брашинским, — это его доклад о Нимфее, который позднее был опубликован в «Вестнике древней истории» за 1955 г. В этом докладе Брашинский выступил против предположения о вхождении Нимфея в Афинский союз, которое было высказано в 1939 г. издателями списков афинского фороса, и в том числе Б. Д. Мериттом. Брашинский отвергал восстановления, предложенные издателями при публикации фрагмента 38 надписи 425/424 г. до н. э. Меритт и его коллеги восстанавливали заголовок соответствующей рубрики как «Города из Понта Евксинского», а в списке самих городов читали и имя Нимфея. Сама по себе дискуссия была вполне оправдана, поскольку надпись дошла в сильно испорченном виде. В позиции, занятой Брашинским, также не было ничего противоземного: и до него уже в литературе велся спор о возможности включения северопонтийских городов в состав Афинской архэ во второй половине V в. до н. э., и среди противников такого предположения был, в частности, С. А. Жебелев (в статье 1935 г., основанной главным образом на толковании данных литературной традиции). Но сомнительна была тональность работы Брашинского: он вел спор с издателями АТЛ не только в научном, но и в политическом плане, выступая в защиту чести великого русского и советского ученого С. А. Жебелева от посягательств враждебной нам англо-американской историографии. В оправдание Брашинского надо сказать, что такого рода политизированная манера полемики была в ту пору, в эпоху так называемой борьбы с космополитизмом, весьма распространена.

Вообще Брашинский был человеком увлекающимся и в научных своих поисках, и в личных отношениях. К чему могли привести подобного рода увлечения, показала защита им кандидатской диссертации в 1958 г. Это события я отчетливо помню: в ту пору мы уже начали сближаться, и этому сближению способствовало то обстоятельство, что мы и наши первые диссертации защищали почти в одно время, с разницей, может быть, в пару недель. Защита Брашинского проходила в ИИМКе. Главным оппонентом выступил совершенно неожиданно Виктор Францевич Гайдукевич, под чьим руководством Брашинский работал на Боспоре. Я хорошо помню ход заседания и всю сцену: как Гайдукевич сокрушал построения Брашинского и эффектно сравнивал его диссертацию с неполноценным туловищем: руки и ноги есть, а голова отсутствует; как затем в защиту диссертанта выступила другой авторитетный археолог Татьяна Николаевна Книпович; как в этот момент погас электрический свет и на трибуну поставили две свечи, между которыми отчетливо выделялось мертвенно бледное лицо Книпович, ядовито отвечавшей Гайдукевичу. Тогда же одним из неофициальных оппонентов выступал Дмитрий Павлович Каллистов, известный специалист по истории античного Причерноморья,

опиравшийся в своем выступлении на материал, предоставленный ему Аристидом Ивановичем Доватуром. Я в ту пору был уже очень близок к ним обоим, и они без стеснения рассказывали мне о слабых, как им представлялось, сторонах диссертации Брашинского. Наверное, в их критике было много справедливого, но, как мне тогда казалось (да и не мне одному), в враждебной позиции Гайдукевича и Каллистова запрятана была какая-то личная подоплека, какая-то общая неприязнь к Брашинскому. О конкретных причинах этого и, в частности, о причине конфликта с Гайдукевичем толком нам, посторонним свидетелям, ничего не было известно. В одном, однако, сомневаться не приходится: Брашинский бесспорно был мастером возбуждать к себе временами неприязнь...

По-настоящему наше приятельство окрепло на рубеже 1960—1970-х гг. Помню, какое дружеское участие приняли мои друзья Я. В. Доманский и И. Б. Брашинский в защите мною докторской диссертации в 1972 г. Во время последовавшего за защитой большого банкета они взяли на себя роль тамады и придали всему праздничному ужину удивительно легкий и приятный характер. Вообще это было замечательное собрание: нам удалось тогда собрать людей самого разного толка, нередко даже враждебных друг другу. И вот Доманский и Брашинский оказались способны провести весь этот праздничный вечер, что называется, без сучка и задоринки. Брашинскому я был вдвойне благодарен, потому что одним из участников праздника был его недруг Д. П. Каллистов. Они с ехидством поглядывали друг на друга, но, к счастью, удержались от каких бы то ни было оскорбительных реплик.

Банкет проходил в ресторане «Московский» на углу Литейного и Невского, и после него мы пошли довольно большой компанией по Невскому в сторону Адмиралтейства, близ которого я в ту пору жил. Тут произошел казус трагикомического свойства. На углу Садовой и Невского к нам подошла молодая женщина, иностранка, которая по-английски спросила, где ближайшая станция метро. Брашинский, который, кстати, великолепно владел английским и немецким, ответил ей на ее языке, что станций метро тут нет, да и вообще в Ленинграде метро никогда не существовало. Бедная женщина на это дурацкое заявление, впад в отчаяние, горько заплакала и отошла от нас. Мы накинулись на Брашинского и спрашивали его, что на него нашло и зачем он поверг в слезы бедную женщину. А тот встал в позу и громко заявил, что так им и надо, этим иностранцам. Я рассказываю об этом, чтобы показать, на какие неожиданные и нелепые выходы был временами способен наш приятель.

Как я уже сказал, в 1970-е гг. наши дружеские отношения стали особенно тесными. Этому способствовал ряд обстоятельств. Во-первых, по моему приглашению (я к тому времени сменил К. М. Колобову на посту заведующего кафедрой) Брашинский стал читать лекции на нашей кафедре по темам античной археологии, керамической тары и керамической эпиграфики (я имею в виду клейма на ручках амфор). Он читал лекции с большим увлечением, но и тут не обходилось иногда без отдельных казусов. Однажды он принимал зачет в нашем старом помещении (аудитория 77). Я в тот момент был в коридоре. Вдруг дверь кафедры распахнулась и появился Брашинский, смеявшийся и бранившийся одновременно. «Я больше не могу», — вскричал он. «А что собственно случилось?» — спросил я. «Твои девицы, — отвечал он, — сидят напротив меня, обнажив и колени, и верх ног своих (тогда в моде были невероят-

ные мини), так что я только и смотрю на эти ноги и ни о чем другом думать не могу»...

Другое обстоятельство, которое спланивало нас, — наши частые встречи на квартире Доманского. Семья последнего отличалась особым гостеприимством. Там дневал и ночевал наш общий приятель филолог-классик Н. В. Шебалин, и там же часто бывали Брашинский и я. В какой-то момент в голову пришло конституировать наше сообщество и дать ему имя — Академия. Первоначальными членами этого неформального содружества были Доманский, Шебалин, Брашинский и я. Позднее к нам присоединился А. Н. Щеглов, после чего было принято решение более состав Академии не расширять. Мы выработали шуточный устав: собираться по очереди на квартирах друг друга, не принимать более никаких новых членов и не допускать на наши собрания женщин. Последним, если они не возражали, отводилась только роль предуготовителей вечерней трапезы, после чего они должны были исчезнуть. Трапеза была обычно достаточно скромной, но в потреблении вина — хорошего сухого вина, которого тогда было в Ленинграде в избытке — члены Академии себя не ограничивали. Собрания проходили в шумном обсуждении всего, что могло нас интересовать: науки, карьеры знакомых, происшествий разного рода, в меньшей степени — политики.

Последнее событие, о котором я хочу рассказать, — неудачная защита Брашинским докторской диссертации. Она должна была состояться в 1981 г. Темой диссертации служила методика исследования керамической тары (по материалам в особенности Елизаветовского городища). Сюжет был очень важный, если учесть, сколько информации может предоставить всесторонний анализ античной керамической тары. Изучение объемов амфор, центров их изготовления, клейм на ручках (особенно гераклейских и синопских амфор) — все это проливает свет на главный экономический нерв античного Причерноморья, на торговые связи между греческими городами, равно как и на связи античных центров с поселениями скифского материка. Был уже напечатан автореферат диссертации. Оппонентами были член Ученого совета Института археологии в Москве В. В. Кропоткин, И. С. Свенцицкая и я. К этому времени Брашинский долгие годы был уже сотрудником Ленинградского отделения Института археологии, но защита докторской диссертации по принятому тогда регламенту должна была проходить в головном, московском Институте, директором которого был в ту пору всемогущий Б. А. Рыбаков. Это обстоятельство сыграло дурную роль в деле Брашинского.

Рыбаков не жаловал Брашинского, но особенно невзлюбил его после одного случая в Одессе, где проходил какой-то археологический конгресс. Во время какой-то поездки на автобусе Брашинский грубо обошелся с двумя или тремя делегатами, происходившими с Западной Украины, обозвав их речь дикой и нечленораздельной. Те, оскорбленные, пожаловались Рыбакову, и он чуть было не лишил Брашинского права дальнейшего участия в работе конгресса. Брашинскому пришлось извиняться, дело как-то замаяли, но даром это нашему другу не прошло. Брашинский рассказывал нам, как чуть позже Рыбаков оскорбительно отозвался о его происхождении и как он это оскорбление проглотил. Ответить прямо тогдашнему всеильному лидеру советской археологии он не мог. Мне кажется, это было началом той трагедии, которая свела потом Брашинского в могилу.

Диссертация Брашинского была, безусловно, солидным и значимым в научном отношении трудом. Все три оппонента высоко ее оценили. Точно так же присланные со стороны письменные отзывы, числом около десятка, давали самую высокую оценку диссертации — все, кроме одного, короткого, небрежно составленного на двух или трех страничках, который ставил под сомнение научную значимость работы. Выступавших против вообще не было, но итоги тайного голосования были неожиданны: голосов против не было подано, но был ряд воздержавшихся, вследствие чего Брашинский не набрал положенных 2/3 голосов.

Дело было совершенно ясное: провал был подготовлен самим руководством Института. Разъяснений никаких не было дано, и только когда И. С. Свенцицкая напрямую спросила (не помню, кого — кажется, ученого секретаря), как могло случиться, что при единодушном одобрении оппонентов и отсутствии выступавших против диссертант не смог набрать нужного количества голосов, — ей ответили, что члены Ученого совета имели право прислушаться к отрицательному отзыву, тому единственному, который, на наш взгляд, и впечатления-то никакого не мог произвести.

По возвращении в Ленинград Брашинский перенес инфаркт. Мы советовали ему махнуть рукой на всю эту историю и беречь свое здоровье. Однако он, что называется, завелся; вдобавок на него оказывали воздействие члены семьи, жена в первую очередь, которые настаивали на том, чтобы он боролся за пересмотр дела, за допуск к повторной защите. Он съездил пару раз в Москву, ему что-то обещали, но полного успеха он не добился.

Так прожил он последний год своей жизни. В конце апреля 1982 г. мы собрались в последний раз нашим небольшим кружком. На этот раз собрались у меня на Васильевском острове, куда мы с женой к тому времени перебрались с Гороховой. Был жаркий день, один из тех, что вдруг наступают в Ленинграде в самом конце апреля. Доманский и Шебалин приехали первыми, а Щеглов позвонил и сказал, что заедет за Брашинским. Тот жил в большой профессорской квартире (профессором был его тесть Л. А. Плоткин) на углу 5-й линии и набережной Лейтенанта Шмидта. К приходу Щеглова Брашинский окончил заниматься «полезным» квартирным трудом: вымыл или протер окна их жилища, чего ему, перенесшему инфаркт, делать было ни в коем случае нельзя. Мало того, они с Щегловым пошли пешком к нам, в другой конец Васильевского острова, на Наличную улицу.

Когда они пришли, мы уселись за стол, и Брашинский, разгоряченный долгой прогулкой, первым делом схватился за сигарету (он так и не бросил курить, несмотря на перенесенный инфаркт). Он жадно затянулся и, будучи в самом веселом расположении духа, стал рассказывать анекдот о Брежнев, отлично подражая характерному выговору генсека. Вдруг он на полуслове остановился и склонился головой на согнутую в локте руку. «Что же ты замолчал?» — вскричал Шебалин, но я, сидевший прямо напротив Брашинского, понял, что случилось непоправимое, и остановил Шебалина. Брашинский умер в доли секунды от обширного разрыва сердца. Мы перенесли его на диван, откуда позднее его забрала медицинская помощь.

Это был конец не только жизни нашего друга, но и всего нашего псевдо-академического собрания. Долгое время после этого мы не могли более собираться. Затем по каким-то своим причинам отдалился Щеглов, и наше содру-

жество сократилось до трех старожилов: Доманский, Шебалин и я. Позднее ушли в иной мир и Шебалин, и Доманский, и с ними окончательно исчезло наше объединение, и я почувствовал, как вокруг меня образовалась пустота...

Таковы те эпизоды из жизни И. Б. Брашинского (и отчасти моей собственной), о которых я хотел рассказать. Мне кажется, что их с лихвою достаточно, чтобы показать, сколь непроста и неоднозначна была натура моего друга, сколь непроста и даже жестока была постигшая его судьба, и в какой степени эта последняя определялась не только условиями, среди которых он жил, но и его собственным характером. Как бы то ни было, заключая эти воспоминания, я должен со всею определенностью заявить, что по отношению к членам нашего кружка, по отношению ко мне и моей жене Брашинский всегда проявлял себя человеком добрым и отзывчивым, был другом в полном смысле этого слова. А это заставляет особенно чувствовать величину утраты, постигшей нас с его преждевременной кончиной.

22 апреля 2009 г.